

Глава 1. Тело осужденного

Второго марта 1757 г. Дамьена[1] приговорили к «публичному покаянию перед центральными воротами Парижского Собора»; его «надлежало привезти туда в телеге, в одной рубашке, с горящей свечой весом в два фунта в руках», затем «в той же телеге доставить на Гревскую площадь и после раздиранья раскаленными щипцами сосцов, рук, бедер и икр возвести на сооруженную там плаху, причем в правой руке он должен держать нож, коим намеревался совершить цареубийство; руку сию следует обжечь горячей серой, а в места, разодранные щипцами, плеснуть варево из жидкого свинца, кипящего масла, смолы, расплавленного воска и расплавленной же серы, затем разодрать и расчленив его тело четырьмя лошадьми, туловище и оторванные конечности предать огню, сжечь дотла, а пепел развеять по ветру»[2].

«Наконец его четвертовали, – сообщает “Gazette d'Amsterdam”[3]. – Последнее действие заняло много времени, поскольку лошади не были приучены тянуть; тогда вместо четырех лошадей впрягли шесть; но и их оказалось мало, и, чтобы оторвать конечности несчастного, пришлось перерезать ему сухожилия и измолоть суставы...

Говорят, что, хотя он и был закоренелым богохульником, ни малейшей хулы не сорвалось с его уст; лишь невыносимая боль заставляла его издавать ужасные вопли, и он часто повторял: “Господи Иисусе, помилуй, помоги мне, Господи”. Весьма назидательной для очевидцев была забота священника церкви Святого Павла, который, несмотря на свой почтенный возраст, неустанно утешал осужденного».

И вот рассказ караульного Бутона: «Зажгли серу, но пламя оказалось столь слабым, что лишь слегка опалило кожу с наружной стороны руки. Затем один из заплочных дел мастеров, высоко засучив рукава, схватил специально выкованные стальные щипцы фута в полтора длиной и принялся раздирать ему сначала икру правой ноги, затем бедро, потом с обеих сторон мышцы правой руки, потом сосцы. Палач сей, хоть и был человек дюжий, с большим трудом вырывал куски мяса, которое ему приходилось захватывать щипцами дважды или трижды с одной и той же стороны и выворачивать, и на месте изъятого всякий раз оставалась рана величиной с монету в шесть ливров.

После этих терзаний Дамьен, много кричавший, но не богохульствовавший, поднял голову и оглядел себя. Тот же приставленный к щипцам палач железным черпаком захватил из котла кипящего варева и щедро плеснул на каждую рану. Затем к телу осужденного привязали тонкие тросы, прикрепленные с другого конца к сбруе: к ногам и рукам, по одному к каждой конечности.

Достопочтенный Ле Бретон, секретарь суда, несколько раз поднимался к осужденному и спрашивал, не хочет ли он чего сказать. Тот отвечал отрицательно. При каждой попытке кричал адским криком: “Боже, помилуй! Господи, помилуй!”. Несмотря на все мучения,

время от времени поднимал голову и отважно оглядывал себя. Тросы на конечностях были затянуты так туго, что причиняли ему несказанную боль. Господин Ле Бретон еще раз взошел на плаху и спросил, не желает ли он чего сказать. Тот отказался. Несколько духовников поднялись и долго говорили с ним. Он охотно целовал поднесенное распятие, вытягивал губы и все повторял: “Господи, помилуй!”.

Лошади рванули, каждая из них тянула к себе выпрямленную конечность, каждую держал палач. Через четверть часа процедуру повторили, и после нескольких попыток пришлось направить лошадей по-другому: тех, что тянули за руки, стали поворачивать в сторону головы, а тех, что были привязаны к бедрам, – в сторону рук, чтобы порвать связки. Так пробовали много раз, но безуспешно. Он поднимал голову и оглядывал себя. Пришлось впрячь еще двух лошадей, в помощь тем, что были привязаны к бедрам; лошадей стало шесть. Но и это тщетно.

Наконец, палач Самсон сказал господину Ле Бретону, что нет ни способа, ни надежды довести дело до конца, и попросил его осведомиться у господ судей, не позволят ли они разрезать Дамьена на куски. Вернувшись из города, господин Ле Бретон приказал попробовать еще раз, что и было исполнено. Но лошади заартачились, а одна из привязанных к бедрам рухнула наземь. Духовники вернулись и снова говорили с ним. Он сказал им (я слышал): “Поцелуйте меня, судари”. Кюре церкви Святого Павла не осмелился, а господин де Марсийи нагнул, про шел под веревкой, привязанной к левой руке, и поцеловал его в лоб. Палачи обступили его, и Дамьен сказал им, чтобы не бранились, делали свое дело, а он на них не в обиде; просил их молиться за него, а священника церкви Святого Павла – отслужить молебен на ближайшей мессе.

После двух-трех попыток палач Самсон и тот другой, который орудовал щипцами, вытащили из карманов ножи и, поскольку больше ничего не оставалось, надрезали тело Дамьена в бедрах. Четыре лошади потянули что есть силы и оторвали обе ноги, сначала правую, потом левую. Потом надрезали руки у предплечий и подмышек и остальные связки; резать пришлось почти до кости. Лошади надсадно рванули и оторвали правую руку, потом левую.

Когда все четыре конечности были оторваны, духовники пришли говорить с ним. Но палач сказал им, что он мертв, хотя, по правде сказать, я видел, что он шевелится, а его нижняя челюсть опускается и поднимается, будто он говорит. Один из палачей вскоре после казни даже сказал, что, когда они подняли торс, чтобы бросить на костер, он был еще жив. Четыре оторванных конечности отвязали от тросов и бросили на костер, сложенный в ограде рядом с плахой, потом торс и все остальное закидали поленьями и вязанками хвороста и зажгли воткнутые в дрова пучки соломы.

...Во исполнение приговора все было сожжено дотла. Последний кусок, найденный в тлеющих углях, еще горел в половине одиннадцатого вечера. Куски мяса и туловище сгорели часа за четыре. Офицеры, в том числе я и мой сын, вместе с отрядом лучников оставались на площади почти до одиннадцати.

Некоторые придали особое значение тому обстоятельству, что назавтра какая-то собака улеглась на траве, где был костер. Ее несколько раз гнали прочь, но она возвращалась. Но

не трудно понять – собака почувствовала, что в этом месте теплее, чем где-либо еще»[4].

Три четверти века спустя Леон Фоше составил распорядок дня «для Парижского дома малолетних заключенных»[5].

“ Статья 17

День заключенных начинается в шесть часов утра зимой и в пять – летом. Работают девять часов в день в любое время года. Два часа в день отводится на учебу. День заключенных оканчивается в девять часов зимой и в восемь – летом.

Статья 18

Подъем. По первой барабанной дроби заключенные должны встать и молча одеться, пока надзиратель отпирает двери камер. При второй дроби они должны быть одеты и заправлять койки. По третьей дроби – построиться и направиться в часовню на утреннюю молитву. От дроби до дроби проходит пять минут.

Статья 19

Приор читает молитву, после чего производится нравственное или религиозное чтение. Упражнение не должно занимать более получаса.

Статья 20

Работа. Без четверти шесть летом, без четверти семь зимой заключенные спускаются во двор, где должны вымыть руки и лицо и получить первую пайку хлеба. Сразу после этого они строятся по мастерским и направляются на работу, которая начинается в шесть часов летом, в семь – зимой.

Статья 21

Обед. В десять часов заключенные прекращают работу и направляются в столовую. Они моют руки в своих дворах и строятся по отделениям. После обеда – отдых до без двадцати одиннадцать.

Статья 22

Урок. Без двадцати одиннадцать по барабанной дроби заключенные строятся в ряды и отделениями идут в школу. Занятия длятся два часа и посвящаются попеременно чтению, письму, геометрии и арифметике.

Статья 23

Без двадцати час заключенные отделениями выходят из школы и направляются во дворы на перемену. Без пяти час по барабанной дроби снова строятся по мастерским.

Статья 24

В час дня заключенные должны быть в мастерских. Работа длится до четырех.

Статья 25

В четыре часа заключенные выходят из мастерских и направляются во дворы, где моют руки, строятся по отделениям и направляются в столовую.

Статья 26

До пяти делятся ужин и отдых, после чего заключенные возвращаются в мастерские.

Статья 27

В семь часов летом, в восемь – зимой работа прекращается. В мастерских производится последняя раздача хлебных паек. В течение четверти часа один из заключенных или надзирателей производит поучительное или воспитательное чтение, потом идет вечерняя молитва.

Статья 28

В половине восьмого летом, в половине девятого зимой заключенные после мытья рук и обыска во дворах расходятся по камерам. По первой барабанной дроби они должны раздеться, по второй – лечь. Двери камер запираются, и надзиратели совершают обход по коридорам, дабы удостовериться в порядке и тишине.

Итак, публичная казнь и тюремный распорядок дня. Они не карают за одинаковые преступления, не наказывают преступников одного типа. Но каждое из них выражает определенный стиль наказания. Их разделяет меньше века. Время, когда в Европе и Соединенных Штатах вся экономия наказания была преобразована. Время больших «скандалов» в традиционном правосудии, время неисчислимых реформаторских проектов. Новой теории закона и преступления, нового морального или политического обоснования права наказывать, отмены старых предписаний, исчезновения обычаев; время составления «современных» кодексов: Россия, 1769; Пруссия, 1780; Пенсильвания и Тоскана, 1786;

Австрия, 1788; Франция, 1791 (год IV[6]), 1808 и 1810. Новая эра в уголовном правосудии.

Из многочисленных изменений остановлюсь на одном: на исчезновении публичных казней с применением пыток. Сегодня это событие порой обходят вниманием; возможно, в свое время оно вызвало лишние словопрения; может быть, его чересчур поспешно и категорически объяснили процессом «гуманизации», отмахнувшись тем самым от необходимости дальнейшего анализа. Да и так ли важно это изменение по сравнению с великими институциональными преобразованиями, с формулированием четких общих кодексов и единых правил судопроизводства; с почти повсеместным внедрением суда присяжных, с утверждением преимущественно исправительного характера наказания и становившейся все более заметной, начиная с XIX века, тенденцией к модификации наказания применительно к конкретному правонарушителю? Не явно физический характер наказания, некоторая осторожность в искусстве причинять боль, смягчение страданий, лишение их нарочитой зрелищности, – разве не следовало бы рассматривать все это как особый случай, как побочное и незначительное следствие более глубоких преобразований? И все же остается фактом, что за несколько десятилетий исчезло казнимое, пытаемое, расчленяемое тело, символически клеймимое в лицо или плечо, выставяемое на публичное обозрение живым или мертвым. Исчезло тело как главная мишень судебно-уголовной репрессии.

В конце XVIII – начале XIX столетия, несмотря на отдельные яркие вспышки, мрачное карательное празднество начинает угасать. В этом преобразовании действуют два процесса. Их развитие во времени не вполне совпадает, содержание не совсем одинаково. С одной стороны, постепенное исчезновение наказания как зрелища. Церемониал наказания сходит со сцены; он сохраняется только как новый процедурный или административный акт. Публичное покаяние впервые было отменено во Франции в 1791-м и снова, после кратковременного восстановления, в 1830 г. Позорный столб упраздняется во Франции в 1789-м, в Англии – в 1837 г. Использование заключенных на общественных работах, для уборки улиц или ремонта дорог, практиковалось в Австрии, Швейцарии и некоторых американских штатах, например в Пенсильвании; прямо на улицах или больших дорогах каторжники в железных ошейниках, пестрой одежде и кандалах обменивались с толпой выкриками, ругательствами, насмешками, пинками, злобными жестами или знаками солидарности[7]. Эта практика была отменена почти повсеместно в конце XVIII – начале XIX века. Демонстративное вождение осужденных по улицам сохраняется во Франции еще в 1831 г., несмотря на жесткую критику: «отвратительное зрелище», по словам Реаля[8][9]; оно было окончательно упразднено в апреле 1848 г. Что касается цепей колодников, которые тянулись по всей Франции до Бреста и Тулона, то в 1837 г. их сменили благопристойные черные тюремные фургоны. Наказание постепенно перестает быть театром. И все, что остается в нем от зрелища, отныне воспринимается отрицательно; как будто постепенно перестают понимать функции уголовно-исполнительной церемонии, как будто этот ритуал, который «завершал» преступление, заподозрили в недолжном родстве с последним: словно заметили, что он равен, а то и превосходит в варварстве само преступление, приучает зрителей к жестокости, тогда как должен отваживать от нее, показывает им, насколько часты преступления, выдает в палаче преступника, в судьях – убийц, в последний момент меняет роли, превращая казнимого преступника в объект сочувствия или восхищения. Беккариа давно заметил: «Убийство, представляемое нам как

ужасное преступление, сами совершают хладнокровно, без угрызений совести»[10]. Публичная казнь воспринимается отныне как очаг, где снова разгорается насилие.

Итак, наказание постепенно становится наиболее скрытой частью уголовной процедуры. Это влечет за собой несколько следствий: наказание покидает область едва ли не повседневного восприятия и входит в область абстрактного сознания; эффективность наказания определяется его неотвратимостью, а не зрелищным воздействием; не ужасающее зрелище публичного наказания, а именно неизбежность наказания должна отвращать от преступления; функционирование наказания в качестве примера изменяет свои механизмы. Тем самым правосудие больше не берет на себя публично ответственность за насилие, связанное с его отправлением. Если оно продолжает убивать, если оно продолжает карать, то не во славу собственной силы; насилие – его внутренний элемент, который ему приходится терпеть, но который ему трудно обосновать. Происходит перераспределение бесчестья: в наказании как зрелище атмосфера ужаса окружала плаху; оно охватывало и палача, и осужденного; и будучи всегда готово превратить позор, навлекаемый на казнимого, в сострадание или славу, оно регулярно посрамляло чинимое во имя закона насилие палача. Отныне позор и огласка распределяются иначе; само осуждение помечает преступника отрицательной и однозначной метой: публичность смещается к судебному разбирательству и приговору; казнь же предстает как дополнительное унижение, которому правосудие стыдится подвергнуть осужденного. Поэтому оно держится подальше от акта казни, неизменно перекадывая его на других, причем под покровом тайны. Унизительно подвергаться наказанию, но и отправление его не приносит славы. Отсюда двойная система защиты, устанавливаемая правосудием между ним самим и назначаемым им наказанием. Приведение приговора в исполнение становится автономным сектором, и его административный механизм снимает ответственность с правосудия; оно избавляется от этого подспудного груза путем бюрократического утаивания наказания. Характерно, что во Франции управление тюрьмами и тюремная администрация долгое время находились в ведении министерства внутренних дел, а управление каторгами осуществлялось министерством морского флота и колоний. Кроме упомянутого разделения ролей имеет место теоретический отказ: не думайте, что приговоры, выносимые нами, судьями, порождены желанием наказать; нет, они призваны исправлять, вразумлять, «исцелять». Техника исправления вытесняет в наказании собственно искупление содеянного зла и освобождает судей от презренного карательного ремесла. Новое правосудие и некоторые его вершители как будто стыдятся наказывать, что, впрочем, не всегда исключает усердие. Чувство стыда постоянно растет: вокруг этой раны кишат и быстро множатся психологи и мелкие чиновники от моральной ортопедии.

Исчезновение публичных казней и пыток означает исчезновение зрелища. Но также и ослабление власти над телом. Раш пишет в 1787 г.: «Не могу не надеяться, что недалеко то время, когда виселица, позорный столб, плаха, розги и колесо станут расцениваться в истории телесных наказаний как признаки варварства эпох и стран, как доказательство слабого влияния разума и религии на человеческое сознание»[11]. Действительно, шестьдесят лет спустя Ван Минен, открывая в Брюсселе второй пенитенциарный конгресс, вспоминает о временах своего детства как о навсегда ушедшей эпохе: «Я видел землю, усеянную колесами, виселицами, позорными столбами; я видел скелеты, отвратительно распластанные на колесах»[12]. Клеймение отменяется в Англии (1834) и во Франции (1832).

В 1820 г. в Англии уже не осмелились применить в полной мере грандиозную публичную казнь, уготованную предателям, – Тистлвуд не был разрублен на куски. Лишь кнут и розги сохранялись еще в некоторых уголовных системах (в России, Англии и Пруссии). Но, вообще говоря, карательные практики стали более сдержанными. Следует или вовсе не касаться тела, или касаться его как можно меньше, причем не ради самого тела. Возразят: тюрьма, лишение свободы, принудительные работы, каторга, запрет на проживание в определенных местах, высылка – занимавшие столь важное место в уголовно-правовых системах нового времени – являются «физическими» наказаниями; в отличие от штрафных взысканий, например, они воздействуют непосредственно на тело. Однако взаимосвязь между наказанием и телом уже не такова, какой она была в публичной казни. Тело служит теперь своего рода орудием или посредником: если на него воздействуют тюремным заключением или принудительным трудом, то единственно для того, чтобы лишить индивида свободы, которая считается его правом и собственностью. В соответствии с такой уголовно-исполнительной системой тело окружается целой системой принуждений и лишений, обязанностей и запретов. Физическое страдание, собственно телесная боль больше не являются составными элементами наказания. Перестав быть искусством причинения невыносимых страданий, наказание становится экономией «приостановленных» прав. Если правосудию все еще приходится затрагивать тела осужденных, манипулировать ими, то оно делает это издали, надлежащим образом, в соответствии со строгими правилами и с куда более «возвышенной» целью. Вследствие этой новой сдержанности на смену палачу, этому прямому анатому страдания, приходит целая армия специалистов: надзиратели, врачи, тюремные священники, психиатры, психологи, воспитатели. Самим своим присутствием возле осужденного они воздают правосудию хвалу, в которой оно так нуждается: они лишней раз убеждают его в том, что тело и боль не являются конечными целями его карательного действия. Заставляет задуматься вот что: в наше время врач должен находиться при приговоренных к смерти до самого последнего момента; заботясь об их здоровье, облегчая их страдания, он встает рядом со служителем закона, чья задача – положить конец их жизни. Когда наступает момент исполнения приговора, пациентам-жертвам впрыскивают транквилизаторы. Утопия судебной стыдливости: отнимать жизнь, но неощутимо; лишать всех прав, не заставляя страдать; подвергать наказаниям, не причиняя боли. Обращение к психофармакологии и различным физиологическим «выключателям», пусть даже временное, составляет естественную часть этого «нетелесного» наказания.

Об этом двойственном процессе – исчезновении зрелища и упразднении боли – свидетельствуют современные ритуалы смертной казни. Это же движение побудило к изменению, каждое в свое время, европейские законодательства: одинаковая смерть для всех преступников – смертная казнь уже не несет на себе, словно герб, специфическое клеймо наказания или общественного статуса преступника; смерть длится лишь мгновение – никакое ожесточение не должно раздроблять ее на множество шагов, предшествующих собственно смерти или осуществляемых на трупе; казнь скорее отнимает жизнь, нежели поражает тело. Уже нет тех долгих процессов, в ходе которых смерть замедлялась путем рассчитанных остановок и вместе с тем растягивалась посредством целого ряда повторяющихся приступов. Уже не практикуются сочетания пыток, которые задумывались как зрелищная казнь цареубийц, вроде той, о которой в начале XVIII века мечтал автор текста «Hanging not Punishment enough»[13]: надлежит переломать конечности осужденного на колесе, затем избить его плетью до потери сознания, потом повесить на цепях и,

наконец, дать ему медленно умереть голодной смертью. Уже не устраиваются публичные казни, когда осужденного волочили на плетенке (чтобы голова не разбилась о булыжную мостовую), когда ему вспарывали живот и быстро вырывали кишки, чтобы он успел собственными глазами увидеть, как их швыряют в огонь, и наконец обезглавливали и четвертовали[14]. Сведение «тысячи смертей» к жестко регламентированной смертной казни определяет совершенно новую мораль акта наказания.

Уже в 1760 г. в Англии (в ходе казни лорда Феррера) была испытана висельная машина (подножка, убирающаяся из-под ног осужденного, позволяла избежать медленной агонии и схваток между жертвой и палачом). Она была усовершенствована и окончательно принята на вооружение в 1783 г., в том же году, когда отменили традиционное шествие из Ньюгейта в Тибурн и, воспользовавшись реконструкцией тюрьмы после гордоновских бунтов, устроили плахи в самом Ньюгейте[15]. Знаменитая третья статья французского уголовного кодекса 1791 г. – «каждому приговоренному к смерти надлежит отрубить голову» – имела тройное значение и предполагала: равную смерть для всех («правонарушения одного рода караются одинаково, независимо от ранга и общественного положения виновного», – говорилось в предложении, внесенном Гильотэном[16] и принятом 1 декабря 1789 г.); одну смерть для каждого приговоренного, причиняемую одним ударом, без использования «долгих, а тем самым жестоких» методов, таких, как казнь через повешение, осужденная Ле Пелетье[17]; наконец, наказание только самого приговоренного, поскольку обезглавливание, основное смертное наказание для знати, менее других форм казни позорит семью преступника[18]. Гильотина, впервые примененная в марте 1790 г., – механизм, отвечающий этим принципам. Смерть сводится к видимому, но мгновенному событию. Контакт между законом или теми, кто проводит его в жизнь, и телом преступника становится молниеносным. Никакого физического столкновения; палач должен быть не более чем добросовестным часовщиком. «Опыт и размышление убеждают, что применявшийся ранее метод отсечения головы подвергает преступника более страшной пытке, нежели простое лишение жизни, которое является формальной целью закона; поэтому казнь должна совершаться мгновенно и одним ударом; примеры показывают, как трудно этого достичь. Процедура будет совершенной лишь в том случае, если используются одни и те же механические средства, сила и действенность которых также поддаются исчислению... Достаточно легко изготовить такую неизменно действенную машину. Обезглавливание будет производиться мгновенно, в соответствии с целью нового закона. Если это устройство действительно необходимо, оно не вызовет возмущения умов и едва ли будет замечено»[19]. Гильотина отнимает жизнь, почти не касаясь тела, подобно тому как тюрьма лишает свободы, а наложение штрафа забирает часть имущества. Она задумана таким образом, чтобы обеспечить применение закона не столько к реальному телу, способному испытывать боль, сколько к юридическому лицу, обладающему помимо других прав правом на жизнь. Она должна обладать абстрактностью самого закона.

Несомненно, на сдержанность процедур казни во Франции какое-то время падал отсвет публичных казней. Отцеубийц – и приравниваемых к ним цареубийц – возводили на эшафот под черным покрывалом; здесь им отрубали кисть руки (до 1832 г.). Впоследствии от этой процедуры остался лишь декоративный траурный креп. Так было с Фиески[20] в ноябре 1836 г.: «Надлежит привезти его на место казни в рубашке, босым, с черным покрывалом на голове; выставить на эшафоте, пока судебный исполнитель зачитает народу приговор, засим

немедленно казнить». Вспомним Дамьена. Заметим, что последним дополнением к смерти как уголовному наказанию было траурное покрывало. Отныне осужденный не должен быть виден. Только зачтение приговора на эшафоте сообщает о преступлении, которое не должно иметь лица[21]. Последним следом грандиозных публичных казней становится их упразднение: ткань, скрывающая тело. Вот казнь трижды преступившего закон (убийца своей матери, гомосексуалист, убийца другого человека) Бенуа, которому первым из убийц собственного родителя закон позволил избежать отсечения кисти руки: «При зачитании приговора он стоял на эшафоте, поддерживаемый палачами. В зрелище этом было что-то страшное; закутанный в широкий белый саван, с лицом, скрытым за черным крепом, матереубийца прятался от взглядов безмолвной толпы, и под таинственным и мрачным одеянием жизнь проявляла себя лишь ужасными воплями, вскоре стихшими под ножом»[22].

Итак, в начале XIX века исчезает грандиозное зрелище физического наказания; избегают казнимого тела; из наказания исключается театрализация страдания. Начинается эра карательной сдержанности. Исчезновение публичных казней, предваряемых пытками, практически свершилось к 1830–1848 гг. Конечно, эта всеобъемлющая констатация требует уточнения. Прежде всего, изменения произошли не разом, не одновременно. Были задержки. Парадоксально, но Англия оказалась одной из стран, которые упорнее других противились отмене публичных казней: возможно, это объяснялось ролью модели, полученной ее уголовным правосудием благодаря учреждению суда присяжных, публичному судоразбирательству, соблюдению *habeas corpus*[23]; главным же образом, несомненно, тем, что она не захотела ослабить строгость уголовных законов в период серьезных общественных беспорядков 1780–1820 гг. Долгое время Ромильи, Макинтошу и Фоуэлли Бакстону не удавалось добиться уменьшения числа и смягчения наказаний, предусмотренных английским законом – этой «чудовищной бойней», по словам Росси[24]. Строгость закона (фактически, суды присяжных считали предусмотренные им наказания слишком суровыми, а потому были скорее снисходительны в их применении) даже возросла: в 1760 г. Блэкстоун насчитывал в английском законодательстве 160 преступлений, наказуемых смертной казнью, а в 1819 г. их стало уже 223. Следует также принять во внимание продвижения вперед и отступления, характеризовавшие весь этот процесс в 1760–1840 гг., быстроту реформ в некоторых странах, таких, как Австрия, Россия, Соединенные Штаты или Франция во время Конституанты, а затем их спад в эпоху европейских контрреволюций и великого общественного страха 1820–1848 гг., более или менее краткие изменения, вводимые чрезвычайными судами или законами, расхождение между законами и реальной практикой судов (отнюдь не являвшейся зеркальным отражением состояния законодательства). Все это объясняет неравномерность преобразования, свершившегося на рубеже XVIII–XIX веков.

Следует добавить, что, хотя это преобразование в значительной мере закончилось к 1840 г., хотя механизмы наказания к тому времени стали действовать по-новому, сам процесс изменений был далек от завершения. Уменьшение числа публичных казней с применением пыток – тенденция, коренившаяся в великом преобразовании 1760–1840 гг.; но в этот период она не достигла полной реализации. Можно сказать, что практика публичной казни долго преследовала нашу систему уголовных наказаний и еще жива в ней. Гильотина, механизм быстрых и незаметных смертей, знаменовала во Франции новую этику законосообразной смерти. Но Революция тотчас придала ее применению пышный

театральный ритуал. Долгие годы длился этот спектакль. Для того чтобы казнь перестала быть зрелищем и оставалась странной тайной правосудия и осужденного, потребовалось перенести гильотину к заставе Сен-Жак, заменить открытую повозку крытым фургоном, быстро выталкивать осужденного из фургона прямо на эшафот, организовывать казни наспех и в неожиданное время; в конце концов пришлось установить гильотины в тюрьмах и сделать их недоступными для публики (после казни Вейдманна в 1939 г.), перекрыв улицы, ведущие к тюрьме, где спрятан эшафот и тайно вершится казнь (казнь Бюффэ и Бонтана в тюрьме Сантэ в 1972 г.); понадобилось даже преследовать свидетелей, рассказывавших об исполнении казни. Достаточно лишь упомянуть об этих многочисленных предосторожностях, как становится ясно, что и сегодня смертное наказание остается, в сущности, зрелищем, которое, собственно, необходимо запретить.

Что касается карательного захвата тела, то даже в середине XIX века он не отошел в прошлое. Конечно, наказание перестало сосредотачиваться на пытке как технологии причинения страдания; основной целью его стало лишение имущества или прав. Но такие наказания, как каторжные работы или даже заключение – простое лишение свободы, – никогда не действовали без некоторого карательного дополнения, ощутимо затрагивающего само тело: продовольственные пайки, лишение половых сношений, избиение, одиночное заключение. Является ли это непреднамеренным, но неизбежным следствием заключения? Фактически, тюрьма в самых очевидных своих практиках всегда содержала определенную долю телесного страдания. Критика тюремной системы, нередкая в первой половине XIX века (тюрьма не является достаточным наказанием: заключенные менее голодны, менее страдают от холода, вообще испытывают меньше лишений, чем многие бедняки или даже рабочие), указывает на постулат, который так и не был открыто отвергнут: осужденный должен испытывать большие физические страдания, чем другие люди. Трудно отделить наказание от дополнения в форме физической боли. Каким было бы нетелесное наказание?

Итак, в современных механизмах уголовного правосудия сохраняется след публичных «пыточных» казней – след, который не вполне изжит, но все более изглаживается «нетелесной» уголовно-исполнительной системой.

* * *

Смягчение строгости уголовно-исполнительной системы в последние века – явление, хорошо известное историкам права. Но в течение долгого времени оно рассматривалось в целом как явление количественное: меньше жестокости, меньше страдания, больше мягкости, больше уважения, больше гуманности. В действительности же эти изменения сопровождаются заменой самого объекта карательной операции. Уменьшение насилия? Возможно. Смена объекта? Бесспорно.

Если система исполнения наказания в самых строгих ее формах уже не обращена на тело, тогда за что же она цепляется? Ответ теоретиков – тех, кто открыл в 60-х годах XVIII века период, который пока еще не завершился, – прост, почти очевиден. Он как бы содержится в самом вопросе. Если не тело, то душа. Искупление, которое некогда терзало тело, должно

быть заменено наказанием, действующим в глубине, – на сердце, мысли, волю, склонности. Мабли[25] сформулировал этот принцип раз и навсегда: «Наказание, скажем так, должно поражать скорее душу, чем тело»[26].

Важный момент. Старые соучастники зрелищного наказания, тело и кровь, сходят со сцены. Новый персонаж появляется здесь в маске. Заканчивается своеобразная трагедия; начинается комедия с игрой теней, безликими голосами, неосязаемыми сущностями. Аппарат уголовного правосудия должен «вгрызаться» теперь в эту бестелесную реальность.

Чисто теоретическое утверждение, опровергаемое уголовно-правовой практикой? Такой вывод был бы слишком поспешным. Конечно, в наше время наказывать не значит просто обращать душу, но принцип Мабли не остался благим пожеланием. Во всей современной уголовно-правовой системе можно наблюдать его следствия.

Прежде всего, замена объектов. Я не хочу сказать, что стали вдруг наказывать за другие преступления. Несомненно, определение правонарушений, классификация их в зависимости от тяжести, области дозволенного, то, что допускается фактически, и то, что разрешено законом, – все это за последние двести лет значительно изменилось; многие преступления перестали существовать, поскольку они были связаны с определенным отправление церковной власти или конкретным типом экономической жизни: богохульство утратило статус преступления; контрабанда и кража домашнего имущества перестали считаться очень серьезными преступлениями. Но эти смещения, пожалуй, не самый важный факт: разделение на дозволенное и запрещенное сохраняло определенную устойчивость из века в век. С другой стороны, «преступление», объект судебно-уголовной практики, глубоко изменилось: изменились скорее качество, природа, состав, в некотором роде субстанция наказуемого элемента, нежели его формальное определение. Под покровом относительной неизменности закона произошло множество тонких и быстрых перемен. Под именем «преступления и проступки» по-прежнему судят юридические объекты, определенные в Кодексе, но судят также страсти, инстинкты, аномалии, физические недостатки, непригодность, последствия воздействия среды или наследственности; наказывают акты агрессии, но через них и агрессивность; изнасилования, но в то же время извращения; убийства, но также влечения и желания. Возражат, что судят не это и что если все это вообще упоминается, то лишь для того, чтобы объяснить рассматриваемые деяния и установить, в какой мере в преступлении участвовала воля субъекта. Ответ несостоятельный. Ведь судят и наказывают именно их, эти тени, таящиеся за элементами дела. Их судят окольным путем, как «смягчающие обстоятельства», которые вводят в приговор не только «продиктованные обстоятельствами» элементы деяния, но и нечто совсем иное, юридически не квалифицируемое: знание преступника, впечатление о нем, то, что известно об отношениях между ним, его прошлым и его преступлением, и то, что можно ожидать от него в будущем. Их судят также через игру всех тех понятий, которые циркулировали между медициной и судебной практикой с XIX века («монстры» в эпоху Жорже[27], «психические аномалии» по циркуляру Шомье, «извращенцы» и «непригодные», «недееспособные» у современных экспертов) и которые, под предлогом объяснения деяния, являются способами квалификации индивида. Их карают наказанием, заставляющим преступника «не просто желать жить, но и быть способным жить, соблюдая закон и зарабатывая свой хлеб»; их карают посредством внутренней

экономии наказания, которое, хотя и должно наказывать за конкретное преступление, может быть изменено (сокращено или, в некоторых случаях, продлено) в зависимости от изменений в поведении осужденного; их наказывают и посредством сопровождающих наказание «мер безопасности» (запрет на проживание в определенных местах, освобождение с условием дальнейшего надзора, назначение «опеки», принудительное лечение), которые нацелены не на наказание правонарушителя, а на контроль над индивидом, нейтрализацию исходящей от него опасности, изменение его преступных наклонностей, и которые должны прекратить свое действие тогда, когда искомое изменение будет достигнуто. Душа преступника упоминается на суде не просто для объяснения преступления, не просто как элемент юридического распределения ответственности; ее вызывают на суд, с таким пафосом, с таким стремлением понять, с таким «научным» рвением, также для того, чтобы она была судима, как и преступление, и получила свою долю наказания. Во всем судебном-уголовном ритуале, от предварительного следствия до вынесения приговора и последних результатов наказания, мы угадываем некую область объектов, которые не только дублируют юридические объекты, но и участвуют в их определении и кодификации. Психиатрическая экспертиза, но и вообще судебная антропология и навязший в зубах дискурс криминологии находят здесь одну из своих прямых функций: торжественно включая правонарушения в поле объектов, подлежащих научному познанию, они обеспечивают механизмы правового наказания обоснованной властью не только над правонарушениями, но и над самими индивидами; не только над тем, что они делают, но и над тем, какими они, возможно, станут. Дополнение в форме души, которым обеспечило себя правосудие, – казалось бы, объясняющее и ограничительное, но на самом деле захватническое. В течение 150–200 лет, с тех пор как Европа внедрила новые уголовно-правовые системы, судьи постепенно, но в ходе процесса, имеющего очень давние истоки, стали судить уже не преступления, а «душу» преступников.

А тем самым они начали делать нечто иное, нежели вершить правосудие. Или, точнее говоря, в самую судебную модальность приговора вкрались иные типы оценки, существенно изменив правила его выработки. С тех пор как средние века в результате медленного и болезненного процесса создали великую процедуру дознания, сложилось мнение, что судить – значит установить истину преступления, определить личность преступника и применить к нему предусмотренное законом наказание. Знание правонарушения, знание виновного, знание закона – три условия, позволявшие положить в основание приговора истину. Но теперь в ход уголовного судопроизводства вводится совсем иной вопрос об истине. Не просто: «Установлен ли акт и является ли он преступным?» – но также: «Что это за акт, какое это насилие или убийство? К какому уровню или к какой области реальности он принадлежит? Что это – фантазия, психотическая реакция, временное безумие, развращенность?» Не просто: «Кто его совершил?» – но также: «Как установить вызвавший его причинный процесс? Что в самой личности преступника привело к преступлению? Инстинкт, бессознательное, среда, наследственность?» Не просто: «Каким законом карается это правонарушение?» – но: «Какие меры были бы наиболее адекватными? Как предвидеть эволюцию преступника? Каков наилучший путь к его исправлению?» В структуру судопроизводства и вынесения судебного приговора внедрился целый комплекс оценочных, диагностических, прогностических и нормативных суждений о преступном индивиде. Другая истина вклинилась в ту, что требовалась судебным механизмом; эта другая истина, переплетаясь с первой, превращает утверждение виновности в странный научно-

юридический комплекс. Примечателен характер эволюции вопроса о безумии в судебной практике. В кодексе 1810 г. безумие упоминалось только в статье 64. Эта статья гласит, что нет состава преступления или проступка, если правонарушитель в момент совершения деяния находился в невменяемом состоянии. Установление факта безумия, следовательно, несовместимо с квалификацией деяния как преступления; ни тяжесть деяния не изменяется в зависимости от факта безумия субъекта, ни наказание не смягчается – исчезает преступление как таковое. Следовательно, невозможно было объявить кого-либо одновременно виновным и сумасшедшим. Если ставится диагноз помешательства, то он не только несовместим с приговором, а просто прерывает расследование и вырывает совершившего преступное деяние из когтей правосудия. Не только обследование преступника, подозреваемого в невменяемости, но и сами последствия этого обследования должны оставаться вне приговора и предшествовать ему. Но очень скоро суды XIX столетия стали ошибаться в толковании статьи 64. Несмотря на ряд постановлений кассационного суда, подтверждавших, что признание помешательства не может повлечь за собой ни смягчения наказания, ни даже оправдания, но требует прекращения дела, судьи продолжали ставить вопрос о помешательстве в самом приговоре. Они допускали, что можно быть одновременно виновным и безумным, причем тем менее виновным, чем более безумным; конечно, подсудимый виновен, но его следует скорее изолировать и лечить, чем наказывать; он не только виновен, но и опасен, поскольку явно болен, и т. п. В результате возникали несообразности с точки зрения уголовного кодекса. Но это стало отправной точкой изменения, к которому подталкивали судебные практики и законодательство в течение последующих 150 лет: уже реформа 1832 г., которая ввела понятие «смягчающие обстоятельства», сделала возможным изменение приговора в зависимости от предполагаемой степени развития болезни или форм частичного помешательства. А практика обращения к психиатрической экспертизе, обычная для судов присяжных и применяемая иногда даже в уголовном суде, означает, что приговор, даже если он всегда формулируется в терминах правового наказания, более или менее явным образом содержит в себе суждения о нормальности преступника и причинах преступления, оценку возможных перемен в его поведении, предвосхищение его будущего. Неверно было бы сказать, что все эти операции обеспечивают обоснование приговора «извне»; они непосредственно интегрированы в процесс подготовки приговора. Теперь безумие не отменяет преступление, что соответствовало бы первоначальному смыслу статьи 64: каждое преступление, и даже каждое правонарушение, несет в себе (как законное подозрение, но также как законное право) предположение о безумии, во всяком случае – об аномалии. И приговор, который осуждает или оправдывает, является не просто суждением о виновности, правовым решением, устанавливающим наказание; он содержит в себе оценку нормальности и техническое предписание о возможной нормализации. В наши дни судья – и магистрат, и присяжный заседатель – на самом деле не просто «судит».

И судит он не в одиночестве. Во всей судебной процедуре и приведении приговора в исполнение участвует множество вспомогательных инстанций. Вокруг основного разбора дела в суде и вынесения судебного решения множатся мелкие органы правосудия и «параллельные» судьи: специалисты в области психиатрии или психологии, магистраты, следящие за исполнением наказаний, воспитатели, чиновники тюремной администрации дробят законную власть наказывать. Могут возразить, что никто из них в действительности не разделяет права судить; что одни, после вынесения приговора, имеют лишь право

осуществлять наказание и, особенно, что другие – специалисты – вмешиваются в процесс до вынесения приговора, и не для того чтобы сформулировать его, но для того чтобы помочь судьям принять решение. Но раз наказания и меры безопасности, установленные судом, не являются абсолютно непреложными, – поскольку они могут быть изменены по ходу дела, поскольку другим, помимо судей, предоставляется решать, «заслуживает» ли осужденный свободы под надзором или условного наказания и они могут положить конец сроку отбывания наказания, – этим другим передаются механизмы правового наказания, которые могут быть применены по их усмотрению: они хоть и вспомогательные судьи, но все-таки судьи. Весь механизм, с годами сложившийся вокруг исполнения приговоров и согласования наказания с индивидуальностью преступника, обеспечивает быстрое умножение числа инстанций, участвующих в принятии судебного решения, и расширяет сферу судебных решений далеко за рамки приговора. Со своей стороны, специалисты-психиатры вполне могут отрицать свое участие в вынесении и исполнении приговора. Рассмотрим три вопроса, на которые, согласно циркуляру 1958 г., они должны ответить. Представляет ли опасность для общества состояние обвиняемого? Подлежит ли он уголовному наказанию? Поддается ли он излечению или перевоспитанию? Эти вопросы не имеют никакого отношения ни к статье 64, ни к вероятности безумия обвиняемого в момент совершения деяния. Они не служат определению «ответственности». Они имеют отношение разве лишь к управлению наказанием, устанавливая его необходимость, полезность, возможную эффективность; они показывают на некодифицированном языке, что будет более подходящим местом заключения – психиатрическая лечебница или тюрьма, каким должно быть заключение – кратким или длительным, что именно требуется – медицинское лечение или заключение. Какова роль психиатра в уголовных вопросах? Он не специалист по вменяемости, но консультант по наказанию. Его дело – сказать, является ли субъект «опасным», каким образом надо от него защищаться, каким должно быть вмешательство, направленное на его изменение, что более целесообразно – меры подавления или лечения. В самом начале своей истории психиатрическая экспертиза была призвана формулировать «истинные» суждения относительно той роли, какую играла свобода правонарушителя в совершенном им действии; теперь она должна предлагать рецепты для того, что можно было бы назвать «медико-судебным лечением» правонарушителя.

Подведем итоги. С начала действия новой уголовно-правовой системы – установленной великими кодексами XVIII–XIX столетий – общий ход событий заставил судей судить нечто иное, нежели преступления; в своих приговорах они были вынуждены делать нечто иное, нежели судить; а власть судить отчасти была передана иным инстанциям, нежели судьи, призванные судить за правонарушения. В судебно-уголовную деятельность во всех ее формах влились внесудебные элементы и лица. Могут возразить, что здесь нет ничего необычного, поскольку право должно постепенно впитывать в себя чуждые ему элементы. Однако современному уголовному правосудию свойственна одна странность: оно включает в себя многочисленные внесудебные элементы не для того, чтобы юридически их квалифицировать и постепенно интегрировать во власть наказывать в точном смысле слова; но, напротив, для того чтобы заставить их функционировать в рамках уголовно-судебного процесса в качестве внесудебных элементов; для того чтобы помешать судебной процедуре быть просто правовым наказанием; для того чтобы отвести от судьи обвинение в том, что он занимается исключительно и просто тем, что карает: «Конечно, мы выносим приговор, но он определяется самим преступлением. Вы прекрасно понимаете, что мы рассматриваем его

как способ излечения преступника. Мы наказываем преступника, но тем самым говорим, что хотим добиться его исцеления». Сегодня уголовное правосудие функционирует и обосновывает себя посредством вечной отсылки к иному, нежели оно само, посредством непрестанно возобновляемого включения себя во внесудебные системы. Оно обречено на самообоснование посредством знания.

Итак, под возрастающей мягкостью наказания можно уловить смещение точки его приложения, а благодаря этому смещению – целое поле новых объектов, новый режим истины и множество ролей, дотоле небывалых в отправлении уголовного правосудия. Знание, методы, «научные» дискурсы формируются и постепенно переплетаются с практикой власти наказывать.

Цель этой книги – сравнительная история современной души и новой власти судить, генеалогия нынешнего научно-судебного единства, в котором власть наказывать находит себе основания, обоснование и правила, благодаря которому она расширяет свои воздействия и маскирует свое чрезмерное своеобразие.

Но какова исходная точка истории современной судимой души? Если ограничиться эволюцией права или уголовного судопроизводства, то неизбежна опасность представить начало изменения коллективной чувствительности, возрастания гуманности или развития гуманитарных наук как монолитный, внешний, инертный и первичный факт. Исследуя же, подобно Дюркгейму[28], лишь общие социальные формы, мы рискуем принять за начало смягчения наказаний процессы индивидуализации, являющиеся скорее одним из следствий новых тактик власти наряду с новыми карательными механизмами. Данное исследование основывается на четырех основных правилах.

“ 1

Не сосредоточиваться при исследовании карательных механизмов единственно на их «репрессивных» воздействиях, на присущих им аспектах «наказания», а рассматривать их с учетом целого ряда их возможных положительных следствий, даже если эти последние на первый взгляд кажутся побочными и второстепенными. А значит, рассматривать наказание как сложную социальную функцию.

2

Анализировать карательные методы не просто как последствия правовых установлений или индикаторы социальных структур, но как техники, обладающие собственной спецификой в более общем поле прочих методов отправления власти. Рассматривать наказание как политическую тактику.

3

Вместо того чтобы рассматривать историю уголовного права и историю гуманитарных наук как два отдельных ряда, пересечение которых, видимо, может оказать на одну из них, а то и на обе, пагубное или полезное (в зависимости от избранной точки зрения) воздействие, следует посмотреть, нет ли у них некоей общей матрицы, не происходят ли они из одного процесса «эпистемологическо-юридического» формирования; короче говоря, сделать технологию власти началом как гуманизации уголовного права, так и познания человека.

4

Постараться выяснить, не является ли появление души на сцене уголовного правосудия, а вместе с тем внедрение в судебную практику корпуса «научного» знания следствием преобразования способа захвата тела как такового отношениями власти.

Словом, надо попытаться исследовать метаморфозу карательных методов на основе политической технологии тела, которая может рассматриваться как общая история отношений власти и объектных отношений. Тогда посредством анализа относительной мягкости уголовно-правовой системы как техники власти можно будет выяснить, каким образом человек, «душа», нормальный или ненормальный индивид начинают «дублировать» преступление как объекты уголовно-правового вмешательства, а вместе с тем – каким образом некий специфический способ подчинения дал рождение человеку как объекту познания для дискурса, имеющего статус «научного».

Но я не претендую на то, что начал работать в этом направлении первым[29].

* * *

Великий труд Руше и Киршхаймера[30] дает несколько важнейших ориентиров. Прежде всего, надо избавиться от иллюзии, будто уголовно-правовая система является главным образом (если не исключительно) средством борьбы с правонарушениями и будто в этой роли, в зависимости от социальных форм, политических систем или взглядов, она бывает суровой или мягкой, может быть нацелена на искупление или возмещение, на преследование индивидов или на вменение коллективной ответственности. Скорее, надо анализировать «конкретные уголовно-исполнительные системы», исследовать их как социальные явления, которые не могут быть объяснены ни одной лишь юридической структурой общества, ни его фундаментальным этическим выбором; надо переместить их в поле их собственного функционирования, где наказание преступления не является единственным элементом; надо показать, что карательные меры – не просто «негативные» механизмы, позволяющие подавлять, предотвращать, исключать, устранять, но что они связаны с целым рядом положительных и полезных последствий, которые призваны обеспечивать (в этом смысле можно сказать, что если законосообразные наказания должны

карать за правонарушения, то установление правонарушений и их пресечение направлены, в свою очередь, на поддержание карательных механизмов и их функций). С этой точки зрения Руше и Кирхеймер сопоставили различные системы наказания с системами производства, в рамках которых они действуют: так, в рабовладельческом обществе карательные механизмы служат созданию дополнительной рабочей силы – созданию «гражданского» порабощения наряду с порабощением в результате завоеваний или торговли; при феодализме, в эпоху, когда деньги и производство только начинают развиваться, наблюдается резкий рост числа телесных наказаний – ведь для большинства людей тело является единственной собственностью, имеющейся в их распоряжении; исправительный дом (Центральная исправительная богадельня в Париже, Спинхёйс и Распхёйс[31]), принудительный труд и тюремные предприятия возникают вместе с рыночной экономикой. Но система промышленного производства требует свободного рынка рабочей силы, и поэтому в XIX веке доля принудительного труда в механизмах исполнения наказаний сокращается и он уступает место заключению в исправительных целях. Несомненно, относительно строгая корреляция устанавливается здесь лишь с рядом оговорок.

Но, конечно, мы можем принять общее положение, согласно которому в современных обществах карательные системы должны быть вписаны в определенную «политическую экономию» тела. Даже если они не прибегают к насильственным и кровавым наказаниям, даже если они используют «мягкие» методы, включая лишение свободы и исправление, речь все равно идет о теле – о теле и его силах, об их полезности и послушности, распределении и подчинении. Совершенно правомерна история наказания, отталкивающаяся от моральных идей или юридических структур. Но можно ли написать такую историю на основании истории тел, если системы наказания утверждают, что имеют своей целью только загадочные души преступников?

Историки давно начали писать историю тела. Они исследовали тело в плане исторической демографии и патологии. Они рассматривали тело какместилище потребностей и желаний, как место, где происходят физиологические процессы и метаболизм, как мишень для микробов или вирусов. Они показали, до какой степени исторические процессы были вовлечены в то, что может казаться чисто биологической основой существования, и какое место в истории обществ следует отвести биологическим «событиям», таким, как циркуляция бацилл или увеличение продолжительности жизни[32]. Но тело непосредственно погружено и в область политического. Отношения власти держат его мертвой хваткой. Они захватывают его, клеймят, муштруют, пытаются, принуждают к труду, заставляют участвовать в церемониях, производить знаки. Политический захват тела связан сложными двусторонними отношениями с его экономическим использованием; тело захватывается отношениями власти и господства главным образом как производительная сила. Но, с другой стороны, его функция как рабочей силы может осуществляться только в том случае, если оно вовлечено в систему подчинения (где потребность служит также политическим инструментом – тщательно подготовленным, рассчитанным и используемым); тело становится полезной силой только в том случае, если является одновременно телом производительным и телом подчиненным. Подчинение его не достигается исключительно средствами насилия или идеологии. Оно может быть также непосредственным, физическим, применяющим силу против силы, основанным на материальных элементах и при этом без

участия насилия; оно может быть рассчитанным, организованным, технически продуманным; оно может быть тонким, может не использовать ни оружия, ни устрашения и все же сохранять свою физическую природу. Иными словами, возможно «знание» тела, отличающееся от знания его функционирования, и возможно овладение его силами, представляющее собой нечто большее, нежели способность их покорить: знание и овладение, образующие то, что можно назвать политической технологией тела. Конечно, технология тела диффузна, редко выражается в связном, систематическом дискурсе; часто она лишена целостности, предлагает разрозненные инструменты и методы. При всей согласованности ее результатов обычно она представляет собой разве лишь многообразные приспособления. Кроме того она не может быть локализована в конкретном институте или государственном аппарате. Ибо они обращаются к ней, они используют, выбирают или насаждают некоторые ее методы. Но она сама в своих механизмах и воздействиях располагается совсем на другом уровне. Упомянутые аппараты и институты проводят в некотором смысле микрофизику власти поле действия которой простирается между большими делами власти и собственно телами с их материальностью и силами.

Исследование микрофизики власти предполагает, что отправляемая власть понимается не как достояние, а как стратегия, что воздействия господства приписываются не «присвоению», а механизмам, маневрам, тактикам, техникам, действиям. Что надо видеть в ней сеть неизменно напряженных, активных отношений, а не привилегию, которой можно обладать. Что следует считать ее моделью скорее вечное сражение, нежели договор о правах и имуществе или завоевание территории. Словом, эта власть скорее отправляется, нежели принадлежит; она не «привилегия», приобретенная или сохраняемая господствующим классом, а совокупное воздействие его стратегических позиций – воздействие, которое обнаруживается и иногда расширяется благодаря положению тех, над кем господствуют. Кроме того, эта власть не отправляется как простая обязанность или запрет, налагаемые на тех, кто «ее не имеет»; она захватывает последних, передается через и сквозь них; она оказывает давление на них, точно так же они, борясь против нее, сопротивляются ее хватке. Значит, отношения власти проникают в самую толщу общества; они не локализуются в отношениях между государством и гражданами или на границе между классами и не просто воспроизводят – на уровне индивидов, тел, жестов и поступков – общую форму закона или правления; и существующая непрерывность (они сопряжены с этой формой посредством целого ряда сложных механизмов) не обеспечивается ни аналогией, ни гомологией, но – специфичностью механизма и модальности. Наконец, отношения власти не однозначны; они выражаются в бесчисленных точках столкновения и очагах не стабильности, каждый из которых несет в себе опасность конфликта, борьбы и по крайней мере временного изменения соотношения сил. Следовательно, свержение «микровластей» не повинует закону «всё или ничего»; оно не достигается раз и навсегда ни посредством нового контроля над механизмами, ни посредством нового функционирования или разрушения институтов; с другой стороны, ни один его отдельный эпизод не может остаться в истории иначе, нежели как через последствия его для всей сети, которой он охвачен.

Пожалуй, следует отбросить также целую традицию, внушающую нам, будто знание может существовать лишь там, где приостановлены отношения власти, и развиваться лишь вне предписаний, требований и интересов власти. Вероятно, следует отказаться от

уверенности, что власть порождает безумие и что (следуя той же логике) нельзя стать ученым, не отказавшись от власти. Скорее, надо признать, что власть производит знание (и не просто потому, что поощряет его, ибо оно ей служит, или применяет его, поскольку оно полезно); что власть и знание непосредственно предполагают друг друга; что нет ни отношения власти без соответствующего образования области знания, ни знания, которое не предполагает и вместе с тем не образует отношений власти. Следовательно, отношения «власть – знание» не следует анализировать на основании познающего субъекта, свободного или не свободного по отношению к системе власти; напротив, следует исходить из того, что познающий субъект, познаваемые объекты и модальности познания представляют собой проявления этих фундаментальных импликаций отношения «власть – знание» и их исторических трансформаций. Словом, полезное для власти или противящееся ей знание производится не деятельностью познающего субъекта, но властью – знанием, процессами и борьбой, пронизывающими и образующими это отношение, которое определяет формы и возможные области знания.

Анализ политического захвата тела и микрофизики власти предполагает, следовательно, отказ – в том, что касается власти, – от оппозиции «насилие – идеология», от метафоры собственности, от модели договора или завоевания; и отказ – в том, что касается знания, – от оппозиции между «заинтересованным» и «незаинтересованным», «корыстным» и «бескорыстным», от модели познания, в котором главную роль играет субъект. Если заимствовать слово у Петти[33] и его современников, но дать ему иной смысл, нежели в XVII веке, можно представить себе политическую «анатомию». Она не была бы ни исследованием государства как «тела» (с его элементами, ресурсами и силами), ни исследованием тела и его окружения как маленького государства. Она была бы исследованием «политического тела» как совокупности материальных элементов и техник, служащих оружием, средствами передачи, каналами коммуникации и точками опоры для отношений власти и знания, которые захватывают и подчиняют человеческие тела, превращая их в объекты познания.

Следует рассматривать технологии наказания – неважно, овладевают ли они телом в ритуале публичных казней или обращаются к душе, – в контексте истории политического тела и уголовно-правовые практики; не столько как следствие юридических теорий, сколько как главу из политической анатомии.

Некоторое время назад Канторович[34] дал замечательный анализ «тела короля»: согласно средневековой юридической теологии двойного тела, которое включает в себя не только бранный элемент, рождающийся и умирающий, но и другой элемент, неподвластный времени и утверждающийся как физическая, однако неосязаемая опора для короны. Вокруг этой двойственности, близкой по происхождению к христологической модели, выстраиваются иконография, политическая теория монархии, правовые механизмы, которые различают и вместе с тем связывают личность короля и требования короны, и целый ритуал, достигающий своего апогея в коронации, погребении и церемониях подчинения. На другом полюсе можно представить себе тело осужденного; он тоже обладает правовым статусом, создает собственный церемониал и вызывает целый теоретический дискурс, но не для того, чтобы обосновать «избыток власти», принадлежащей личности государя, а для того, чтобы выразить «недостаток власти», отпечатывающийся на телах тех, кто подвергается

наказанию. В самой темной области политического поля осужденный представляет симметричный перевернутый образ короля, Следует проанализировать то, что можно назвать, отдавая дань Канторовичу, «наименьшим телом осужденного».

Если избыточная власть короля приводит к удвоению его тела, то не приводит ли эта власть, применяемая к подчиненному телу осужденного, к удвоению другого типа? Нетелесного, «души», как говорил Мабли? История «микрофизики» власти наказывать была бы тогда генеалогией или частью генеалогии современной «души». Вместо того чтобы рассматривать душу как возвращенные к жизни пережитки некой идеологии, следует видеть в ней современный коррелят определенной технологии власти над телом. Неверно было бы говорить, что душа – иллюзия или результат воздействий идеологии. Напротив, она существует, она имеет реальность, она постоянно создается вокруг, на поверхности, внутри тела благодаря функционированию власти, воздействующей на наказываемых – вообще на всех, кого контролируют, воспитывают, муштруют и исправляют, на душевнобольных, на детей в школе и дома, на заключенных в колониях, на тех, кто пришпилен к производственной машине и подвергается контролю на протяжении всей остальной жизни. Душа в ее исторической реальности, в отличие от души в представлении христианской теологии, не рождается греховной и требующей наказания, но порождается процедурами наказания, надзора и принуждения. Эта реальная и нетелесная душа не есть субстанция; она элемент, в котором соединяются и выражаются проявления определенного типа власти и предметная область определенного знания, она механизм, посредством которого отношения власти порождают возможное знание, а знание распространяет и укрепляет воздействия власти. Опираясь на эту реальность-денотат, построили различные концепции, из нее выкроили области анализа (такие, как психика, субъективность, личность, сознание и т. п.); основываясь на ней, воздвигли научные методы и дискурсы, предъявили моральные требования гуманизма. Но здесь не надо заблуждаться: реальный человек, объект познания, философской рефлексии или технического вмешательства, не был заменен душой – иллюзией теологов. Человек, о котором нам рассказывают, которого нас призывают освободить, является следствием подчинения куда более глубинного, нежели он сам. «Душа» обитает в нем и дает ему существование, которое само является элементом господства, осуществляемого властью над телом. Душа есть следствие и инструмент политической анатомии; душа – тюрьма тела.

* * *

О том, что наказание вообще и тюрьма в частности принадлежат к политической технологии тела, я узнал не столько из истории, сколько из настоящего. В последние годы во всем мире произошли тюремные бунты. В их целях, лозунгах, в том, как они развивались, было, несомненно, нечто парадоксальное. Бунты против всего состояния физического убожества, сохраняющегося более столетия: против холода, духоты и скученности, против обветшалых помещений, голода и избиений. Но также бунты против образцовых тюрем, против транквилизаторов, изоляции, медицинского обслуживания, воспитания. Были ли это бунты, преследующие чисто материальные цели? Или противоречивые бунты: против обветшалости и упадка, но и против удобств, против надзирателей, но и против психиатров? В сущности, все эти движения, как и бесчисленные дискурсы, порожденные тюрьмой с

начала XIX века, вращались вокруг тела и материальных вещей. Эти дискурсы и бунты, воспоминания и инвективы вдохновлялись мелкими, ничтожными материями. Вольно видеть в них одни лишь слепые требования или подозревать влияние чуждых стратегий. На самом деле это были бунты на уровне тела против самого тела тюрьмы. Протестовали не против слишком примитивной или слишком антисанитарной, слишком отсталой или слишком совершенной тюремной обстановки, а против самого материального существования тюрьмы как инструмента и вектора власти; против всей технологии власти над телом, которую технологии «души» – осуществляемой воспитателями, психологами и психиатрами – не удастся ни замаскировать, ни компенсировать по той простой причине, что сама она является одним из ее орудий. Я хотел бы написать историю тюрьмы со всеми политическими «захватами» тела, которые она собирает воедино в своей замкнутой архитектуре. Из одного лишь интереса к прошлому? Нет, если иметь в виду историю прошлого с точки зрения настоящего. Да, если понимать эту историю как историю настоящего[35].

Версия #1

Зверобой создал 26 мая 2025 13:53:40

Зверобой обновил 26 мая 2025 13:58:21